

Владимир Коновалов

# Премия

12+

Владимир Коновалов

# Премия

«ЛитРес: Самиздат»

2017

## **Коновалов В. Ю.**

Премия / В. Ю. Коновалов — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Жизнь — одно из возможных свойств материи, которой все равно — мертвая она сама или живая. А жизни дела нет, что ее крохотная часть развернулась и заселила землю. Почти весь невообразимо богатый и длинный код жизни предпочитает спать.

Солнечное утро. Ясно. Почти 9:00. Партсобрание. В актовом зале исследовательского института обычное движение в этот день недели. Достаточно плотно уже заняты длинные ряды засиженных бордовых бархатных сидений. Тут всё привычно засижено – и стены, и даже потолок. Тут всё привычно. Никто бы не заметил, что на рамах давно повисли жухлые ломкие обрывки лент зимней бумаги, уже совсем выжженных летним солнцем, и зацепившиеся такие же хрупкие обрывки прошлогодних мух. На подоконнике между горшков с зелеными тропическими ростками присутствуют засохшая лужица клея, хранящая чей-то замысел что-то склеить, а на ней, опять же засохшие, мухи нынешнего лета, вечные участники коротких прений по докладам. С одинаковым вниманием они всегда слушали и членов местного коллектива, и доклад командированного активиста, кстати, первоклассного специалиста по масличным культурам, и чтение приветственного письма далекого племенного рассадника. И наши математики все тут, но никогда не выступают и ничего не читают, какие они все-таки молодцы, и все их за это любят.

Все присутствующие нынешним утром, так же как и все вышеперечисленные мушинные ошметки, молча соглашались утвердить повестку дня. Ответственное дело, и все относились ко всем вопросам и ко всему вообще здесь очень серьезно, и к началу собрания было уже не протолкнуться. Некоторые даже стояли поближе к двери.

Марат вошел с боку и сходу начал:

– Первый вопрос повестки дня. У нас всё еще решается проблема, брать премию?... или...

– Кому-нибудь ее подарить... – это уже как обычно, и не в первый раз уже, говорят из зала, поскольку вопрос этот на повестке дня висит уже не первое собрание.

Марат как обычно, не в первый раз уже, пропускает это мимо ушей:

– Или не брать. Товарищи, премия – это один из стимулов к труду. Но всего лишь один из множества стимулов. И не самый важный в наборе моральных стимулов. И совсем уж не значительный в мотивах нашей с вами работы, товарищи. Если мы не возьмем премию, в рамках нашего огромного и многочисленного института это составит существенную экономию фондов. Вы только представьте, каким будет эффект уже в ближайшем будущем финансирования науки. Некоторые новые разработки получают одобрение и кадры. Текущие исследования получают уверенность в своем продолжении. Я ручаюсь, вы, друзья, получите эту уверенность. Мы пример. Наш коллектив это передовое целостное межотраслевое объединение теоретических и экспериментальных исследований. Наш коллектив уникален, разносторонен, это экспериментальное объединение научных направлений. Как и многим другим блестящим коллективам, нам доверена светлая роль поиска знаний, укрепления развития и обороноспособности страны. И у нас роль главная. Мы крепкое звено в прочной цепи наших научных объединений. Мы стоим в строю авангарда движения человечества к знаниям и миру. Я могу вам уверенно сообщить, что наши инициативы по экономии фондов дают нам высокую поддержку и позволяют нам свободно и всемерно развивать инициативу наших сотрудников в спорных новых направлениях научных исследований. Вижу. Не убедив вас, не буду ставить вопрос на голосование. Голосуем за перенос положительного обсуждения этого вопроса на следующее заседание.

– ...

– Единогласно. Второй вопрос повестки. Это у нас самодеятельность. Организация выступления хора.

– Железнодорожного?

– Не железнодорожного. Нашего, – оживляются в легком возмущении в зале.

– Хор не имени.

– Извините меня, но если речь о самодеятельности, то как на счет болота имени достойного Баландина, – вдруг начал свое выступление с места тов. Забровин.

– Как я понимаю, речь о хозяйственных трудностях в его отделе?

– Речь о самодеятельности.

– Да вы о чем, друзья, – оживляются с растущим интересом в зале.

– Да о прекрасном качестве любой души.

– Да не надо тут упрощать до хозяйственной части, – поддержал другой товарищ, – Тут речь о серьезных прегрешениях, о серьезной аварии, и о виновном в ней. На значительной территории разлив неизвестной опасности вещества. На нашем дворе. Повреждение имущества на миллионы. Но им ведь хотелось.

– Дайте-ка сказать, – внушительно перебил заслуженный тов. Ланько. – Вы все тут много рассуждаете о железнодорожных делах, а разгребаю я один. Пришлось проложить новые подъездные пути в обход этого безобразия. Локомотив, что тогда сошел на затопленном участке, теперь уже полностью утонул. Да-да, не видно его уже. Посмотрите в окно. В этой мелкой луже. Это зачумленное болото все теперь далеко обходят. Теперь туда никого не загонишь, да и кто возьмет грех на душу. Сушить ведь пробовали, и ЗИЛ тот бедный до сих пор в ремонте, все его видели в гараже, и всем его жалко, бедненького. И все от него нос воротят. Спасибо за внимание.

– Да вы о чем, друзья. Самое важное, что лужа по колено. Такая маленькая лужица. А тепловоз предмет большой.

– И облака в ней светятся, а вам всем невдомек.

– Глядя на это с точки зрения, – Сиропин все хотел вставить свою длинную готовую речь, но не попадал в такт коротких пауз и каждым своим глубоким вдохом промахивался.

– Сама авария-то, кстати, не копеечная. Реакторы-то не подлежат восстановлению. Вы-то грешите только на Баландина. А как оно туда-то пролилось, кто разбирался-то. Вокруг цеха-то сухо.

– Да ради бога, не верю я, – вставил тов., которого беспокоило, что наш хор не имени кого-то.

– Да вы о чем, друзья. Самое важное, что это в конце концов такое. Боже мой, да вода же не сохнет.

– Видя такой факт, вы мне объясните, какими законами разрешены вседозволенные опыты над человеческим материалом, – в упор развернулась на Баландина тов. Блажная. – Прodelикатились, но он ведь уже не прекратил. Побоялся бы бога. А парторг тоже не понятно куда смотрит.

Марат смотрел спокойно и прямо:

– Товарищи, чтобы не размусоливать этот вопрос, выступление хора назначаем по традиции на эту последнюю пятницу, а за Баландина поручится товарищ Семенов, у него он и будет пока числиться. Так, Семенов?

– Да.

– На этом все. Спасибо всем.

Выход из актового зала вел в просторный под светлый мрамор холл, сплошь заполненный солнцем. Лето ощущалось неожиданным подарком. И все это лучистое волшебство, струясь с поверхности бесчисленных стекол, тихонько раздувало мальчишеский озорной огонек в глазах Баландина. Это стеклянное волшебство лета, видя смешливого Баландина, дуло на него чуть сильнее, чем на других, само не в силах сдержать тот же смешок, который напрягал веерок морщинок и вокруг Баландинских глаз.

Вышедшие с собрания люди были все его друзья. Хотелось доброй рукой шевелить всем волосы. Они все невольно улыбались, зараженные проходящим мимо Баландиным. А он наслаждался тем, что все они не могли эти улыбки сдержать.

Он кивком всех благодарил за ту пресмешную мысль, что они подарили ему этим утром. До сегодня он все как-то не успевал ее до конца оформить и додумать. И теперь он каждого готов был расцеловать за то, что они сегодня так упорно твердили ему про болото. Получив

такое теплое и настойчивое одобрение на собрании, Баландин парил в сантиметре от земли, не чувствуя ног, влекомый в необъятное – прочь в степь.

Баландин в текущие секунды уже стоял там, посреди выгорающей летней степи, на пересечении зыбких тропинок скелета. Порядок его прогулки не менялся. Обычно, он оказывался здесь к тому времени, когда уже почти безопасный для глаз, кожи и непокрытой головы солнечный шар закатывался за ровный необитаемый край, противоположный нашему старому необъятному скелету.

Приятное время в приятной тишине тихих степных звуков, приятный свет и краски. На этом месте он останавливался, потому что оно было всегда разным. Не угадаешь эти сочетания красок. И скелет отсюда выглядел всегда не знакомо. Причудливый оплывший свечных огарков ряд. Ряд обманутых зданий, и многие обмануты неначатым сносом. Всё это плавное нагромождение лежало на черной земле необъятной белой простыней взвоздушенной.

Баландин попытался представить, о чем думали люди, начавшие когда-то строить эту несуряицу вокруг. Видимо, форма предметов и сооружений, как и мнение нынешних граждан, их заботила очень мало. Теперь уже некому было разобраться хотя бы даже в происхождении архитектурного плана скелета, которого, вполне возможно, и не было, и тем более, никто уже не вспомнит обстоятельства его непрерывного бессмысленного изменения.

Всё это нагромождение недвижимости, это постоянно перестраиваемое, недостроенное и, не успев пожить, упавшее тело титана, истлевшее уже до белых костей, с кое-где торчащими ребрами свай, в итоге решило само заботиться о себе, о своей форме и самосохранении в общем веществе города.

Странно звучит, но жизнь тут как будто началась спустя сто лет после смерти. Этот длинный лабиринт стен, с незапамятных времен именуемый скелетом, естественнейшим образом обрел свой инстинкт самосохранения. Чему способствовала непрерывная активная застройка вне всякого осмысленного генерального плана.

И он, этот инстинкт, оказался очень даже сильным. Рост скелета подчинился природной самоорганизации, что четко видно теперь птицам с их птичьего полета. Рост этот подчинился стодвадцатиградусным углам, прекраснейшей симметрии шестигранников, рисунку пчелиных сот. Протоптаные тут дорожки и строения расходятся и сходятся, рисуя эти красивые соты. И все идет к тому, что скелет растет и вращается в эту еще не заполненную решетку, подчиняясь своему естественному стремлению к оптимальной правильной форме и освобождаясь от шелухи.

Но, спустившись с неба, терялся образ этой симметрии, и очень быстро он терялся. С земли можно было видеть, что формы тут нет. И даже Баландин уже не соберет скелет в том виде, в каком встретил его в первый раз. Но, дав пинка своему могучему воображению, можно ускоренно прокрутить снимки воображаемой истории.

Несмотря на то, что скелету наиболее подходил образ с начисто изъятыми из него людьми: изъятыми и из него, и на многокилометровый радиус вокруг, именно с людьми он хотел быть. Хотя никогда скелет не стремился приобрести эти нынешние пугающие человеческие черты.

Преодолевая сопротивление многочисленных тех, кто пытался его прикрыть, скелет ухищрялся, юлил, отводил взгляд, жался по углам в тень, шел на невыгодный размен своими белыми шахматными фигурами и прочими капитальными вложениями; будучи, по видимости, неприлично пьян, упирался откровенным попыткам утащить его на выход, легко жертвуя, как ящерица, пуговицами и рукавами; и – ободранный и довольный остался дальше давить на землю своей имущественной ненужностью. На огромных гектарах. Вместо того чтобы потратить весь свой пыл для обустройства тысячи жилищ, он был занят изготовлением тысячи идей. Скелет остался тем, что может непрерывно нравиться его обитателям.

В виду всех прошлых геологических угроз нынешняя авария эксперимента Баландина не могла вызвать в коллективе скелета ни паники, ни заметного возмущения. Потому что она была, кроме всего, не первой подобной. И к поломанному Баландинскому цеху долго еще никто не подойдет ни с любопытством, ни с целью утилизации ценного оборудования. Не из страха, а из отсутствия интереса к авариям, пожарам, к резким хлопкам взрывов и прочим обычным происшествиям. Как давно не подходят даже к целым корпусам зданий, заброшенным уже не припомнить почему.

Может показаться, что коллектив наш, коллектив скелета, нерадивый хозяин на пропащем заросшем, хоть и обширном, хуторе, расточитель и неудачник. Но расточитель этот всё никак не оскудеет, потому как расточитель еще и трудолюбив и очень плодовит, и его пропащая нерадивость не может нанести сколь-нибудь чувствительного урона умножающемуся богатству. Здесь присутствует самое высокое количество единиц научных открытий на душу населения. И это богатство тут так легко разбрасывается, но не может даже замедлить своего роста.

Трудно описать, как выглядел теперь скелет. Местами он был как большая полоса сморщенной молочной пены, подсыхающей на капризной губе гиганта, а в основной своей части выглядел как футляр от несуразного гигантского музыкального инструмента или инструмента пыток очень тревожной формы.

Баландин мыкался теперь на ближней местности, как музыкант с пустым футляром, чьей игры никто не хочет, и с ухмылкой осматривал свой небольшой кратер, свой собственный вклад во все это безобразие.

Вклад не полный – начиналось лучше, чем кончилось. Сидя за столом Баландина, можно было пощупать начало толстенькой пачечки его увлекательнейшего чтения. Много было планов и так много работы. Уже первые страницы так чудно притягивали и растворяли внимание, толщина непечатой стопки листов так радовала пальцы. И вдруг уже пусто под ладонью. И некуда идти. О это волшебное чувство: некуда идти. Очнуться, стоя посреди знакомой степи, и некуда идти.

По привычке на службу без опозданий, и ничего другого не остается делать, как уйти из дому на весь жаркий день и шататься по скелету с руками в карманах брюк и босыми ногами внутри ботинок. Публикации Баландина и раньше вызывали одобрительные кивки лишь у нескольких человек, сумевших их прочесть. А нынче главная его работа ушла в болото и вызывает одобрительную ухмылку лишь у скелета, ощерившегося целым этажом пустых окон.

Тем самым вечером аварии Баландин вскрикнул «отстаньте!» тонким плачущим голосом после того, как всё в цехе остановилось и вдруг потекло, и стены цеха как обрывки грязной бумажной салфетки мягко упали на зеленый ковер. И вдобавок к его «отстаньте!» ничего не скажешь. Пригорюнился коллектив. Но все, позабыв о себе, бросились утешать его, беребящего свои записи, записи...

И это его «отстаньте!» тонким бледным лучом вонзилось в сухую степь, и в этой жаре до сих пор как будто оно продолжало дрожать противной нотой торчащей тут блестящей двуручной пилы. – Уже и после того будто, как игравший на пиле пыльник оставил ее тут, и все слушатели его концерта игры на пиле и он сам уже давно как разошлись и сидели уже все одновременно за своими под скатертью светлыми столами и синхронно тепло ужинали в теплоте своих семей синхронным вечером, без сожаления теряя память об исчезнувших предметах.

Над своей неудачей и над всеми мыслями человечьими Баландин готов был первым потешаться, но и себе готов был выделить время погрустить, оборачиваясь мысленно к первым рядам в мысленном своем театре.

В этом темном маленьком зале не было свободных мест. И слабый мерцающий огонек радостного ожидания в глазах плотных рядов его зрителей умолял его не грустить и неспешно

поискать и потихоньку развить хоть какую-нибудь, пусть даже жалкую импровизацию, они поддержат что угодно, они будут тихо ждать в своих темных рядах продолжения.

Но возобновлять работу в прежнем виде не имело смысла. Пачку записей можно швырнуть на ветер из верхнего окна, из своего кабинета. Записанные слова освободились от принудительного осуществления и овеществления и весело порхали рядом на свежем воздухе.

Однако, как будто что-то уже хотело уютно устроиться на освободившееся место. Все прошлое приятное волнение успокоилось, и все неприятное тоже прошло. Но что даже и не собиралось никуда исчезать, так это то самое болото. Работа и смысл, потерявший место, и болото, как место не хуже прочих, потихоньку сливались в один образ.

Баландин поглядывал в сторону болота, а оно, очень казалось, поглядывало на него. Скелет поглядывал на них. С этого голого степного пункта болота даже не было видно, только зыбкий ворс мусора в степных складках. Так странно, так странно...

Всё кругом и Баландин с руками в пиджачных карманах спокойно и бесцельно оглядывались и иногда рассеянно поглядывали друг на друга. Теперь есть уйма времени. Некуда идти и некуда и некому спешить. Но интереснейшим вещам не терпится начаться. Сегодня.

И началось. Сперва всё, правда, шло тихо-тихо. В оркестре молча рассаживались скрипки, горел полный свет, в шикарном зале было полно мест. Баландин искал что-то в карманах, вращая большими пальцами. Главные действующие лица вежливо и с улыбкой подсаживали друг дружке, как лучше встать и как лучше повернуться. Все понимали, что они собрались ради общего несуществующего еще дела, и никто не проявлял намерения доминировать или форсировать.

Легкими кивками высказывались намеки что-то подправить, и с вежливой улыбкой все замечания, как незначительная шутка, тут же исполнялись собеседником, и он сам чуть-чуть выступал, чтобы разгладить складку на плече друга и отступал к себе.

Тут ни с того, ни с сего, в оркестре запела не выдержавшая напряжения струна, но так нежно, что все только заулыбались такому разрешению затянувшейся паузы. Мгновенный трепет, и без сговора было решено, что пора начинать.

Тут же по диагонали, пересекающей все квадраты степных гектаров, прошло мощное утверждение болота, как пешки, уже стоящей на последней линии, и как факт – возведение в степень ферзя. Но никто не смутился такой нескромности. Было только хором тихонько сказано болоту, что ни у кого и так нет никаких сомнений, что все тут собрались только ради него.

В мгновение определились все таинственные возможности, и опять тишина. Присели и призадумались, нога на ногу, разглаживали коленку. Кто-то что-то сказал, но кто-то и ответил, и, отделавшись от чего-то, успокоились эти оба. Но из-за этого что-то затрепетало в других, таких же, но желанное сочетание не было найдено, и это что-то не смогло оформиться.

Все повернулись в другую сторону – там вдалеке под горизонтом густо прогудело, но опять, столкнувшись, схлопнулось с протяжными оркестровыми трубами. Снова долгое раздумье над тупиковыми вариантами и хрустальный звон падения осколков невозможного.

Снова было повторено то, что давно было отвергнуто. И пошло в сторону, ничего общего не имеющую с первым замыслом, на дорожку, параллельную несуразнейшей выдумке.

И тут тихо послышалось, что не пошло бы все к чёрту. И в те же полсекунды, как только Баландин с этим легко согласился, слабо задышала какая-то разноцветная световая мелодия и потянула его мимо цветов к дебрям темного леса. Оставалось сделать шаг, чтобы вступить в черноту, в темный дверной проем подъезда своего дома.

На следующее утро по пути на работу у забора скелета Баландин пребывал в твердом настрое привести в порядок свои дела, разобрать записи, подготовить подробный отчет, подшить и сдать все в архив. А ближе к обеду всё еще лежащий на столе прошлый замысел снова поглотил его, многие старые заметки вернули забытое волшебное-возбужденное упоение, в котором он пребывал, еще только открывая этот новый древний мир. Но, стоя у окна со своим

красивым в эмалевых красненько-розовых цветочках подстаканником и глядя на просвечивающий в грани стакана сверкающий янтарный чай, он думал, что очередной провал ему пока не нужен. Вечером, снова тихо прогуливаясь с тем же горячим подстаканником по степи с теми же цветочками, далеко не доходя до болота, он уже видел, что всё кругом опять смеется над ним, и недостроенный скелет в упор тарасит на него пустые глаза, окна без стекла.

Недостроенность скелета, его брошенных корпусов и беспорядочных пристроек, взгляд без глаз пустых окон пустых этажей легко явили ему образ его пустой затеи. Легкой затеи, как казалось.

Все нынешние и давние прочие уже давно посчитали всё это мусором, поэтому тогда же давно ему легко было заняться тем, чем никто не интересовался. Нет соперников, нет никаких ожиданий и обещаний каких-либо значимых результатов, некому отчитываться, и нет угрозы осрамиться. Ведь никто не смотрит, не замечает в упор тех, кто копается в мусоре, и не вспоминает, в чем те копались.

А мусор этот, что странно, но опять же никому не казалось никогда странным, составлял большую часть жизни, не их жизни, не жизни граждан, а жизни вообще, жизни записанной во всем, что движется, копошится, то, что вообще живет тут, в этой точке вселенной, то, что есть и всегда было ее фоном, ее генофоном.

Большая часть ее, жизни, построек была давно брошенной и недостроенной, пустой, пустовавшей очень долго, замеревшей на два-три-четыре миллиарда лет. Но стоило только с добрым Баландинским вниманием посмотреть на эту пустоту, как она с готовностью стала глядеть в ответ.

Чутко проснулась солнечным утром, отдохнувшая за миллиарды лет здорового сна, и веселая. Полная миллиардолетних невесомых сил. Легко вспорхнула со снежно-воздушных перин на свои легкие тонкие пушкинские ножки и, не взглянув даже на своих толпящихся у входа разодетых поклонников, тут же ушла от скучного разговора, от скучных комплиментов и щеняче-обожающих, блестящих от умильных слез глаз, на прогулку из всех этих стерильных лабораторных стен на волю, на чистый воздух, погулять и вздохнуть.

Не вырвалась, а просто ушла, невесомо босиком ступая по своей, паром щекочущей пятки, земле. И Баландин вот вышел теперь вот – за ней, за крупнейшей в округе землевладелицей, но не смеет ее догонять, плетется сильно поодаль следом, тупо глядя под ноги и на носки ботинок. Ну брошенный влюбленный.

Не брошенный даже, а не замеченный – мусором жизни в генетических дебрях. Который так легко ожил. А казался в огромном микроскопе таким не живым и глубочайше маленьким. И вот уже кажется теперь Баландину, что живое живет в каждом неживом и всегда в нем жило; так же, как истина, открытая человеком, была истиной и до этого самого открытия. На самом деле, ничтожнейшего открытия – на фоне того, что скрыто, но давно миру известно. Все кажется глупым, потому что кажется, что все делают вид, что всё давно им известно.

Но разве в начале пути не всегда так. В отсутствие даже самого от нуля далекого начала понимания самого, собственно, начала всякие упреки и критика, даже собственная критика поиска этого начала ничего не приносят для приближения из того самого отрицания, из отрицательного края неизвестной шкалы, хотя бы к нулю этой шкалы. Притворившись знающими, легко смеяться над жалкими попытками ухватить нить, ничего не предлагая для поиска в этой черной темноте, не предлагая даже смутных ориентиров постановки самого вопроса. Легко смеяться и задним числом, когда путь уже виден, над тем, кто ощупью слепо мыкался и спотыкался и ощупью искал замочную скважину в незапертой двери, чтобы жизнь подсмотреть в эту скважину между трепещущих строчек.

Жизнь, в совершенстве изучив природу и природу вымысла, всегда сочиняла без всякой заботы о своем читателе еще задолго до того, как этот читатель хотя бы намеком появился. Баландин же долго не мог понять, что проку в такой выдумке, которую никто даже не то что

не понимает – нет, о которой даже никто не знает, никто не подойдет, никто не прочтет, никто не оценит. Тираж миллиардный, но читателей ноль. Но теперь он уже вполне понимал и эту шутку. Да, эта шутка самая блестящая. Шутка скрытая, но везде присутствующая.

И Баландин смеялся. И не только над собой. Ну разве не забавно, когда человек с завязанными глазами бьется лбом о стену, спотыкается по притупленному чутью, расставив нелепо руки, растопырив пальцы, когда вокруг него просторно и светло, и нет преград, и ровно. Так и было в той смешной невозможной темноте завязанных глаз, в зазеркалье света, где сложность пространства генофона позволяла действовать лишь вслепую, наощупь. Где неизвестность позволяла лишь ползать на животе по границам множеств; а где-то в темноте ползающая Истина своим сопеньем мыкается, так же смешно тычется во всякий выступающий камень. Остается ползти на это сопение, искать в дремучих потемках ее рук, которые протянуты-ждут и схватят твои, как только коснешься. И вдруг вместо этого встречает тебя – вид с обрыва и падающая бескрылая тень. И ветер задул в зубах окурков. Смешно и то, что тут же ходят и все остряки и забияки, и тут в пыли лежит ими затоптанное, но не открытое. Дай только имя.

Это теоретическое захолустье, где никто никогда не останавливается, устраивало Баландина тогда. Ведь устроит и сейчас. Чем чернее, тем живее мрак. Потому что уж теперь-то есть точка опоры, потому что ему позволено встать на ноги и осмотреться, наконец, в сказочном зазеркалье. Ничего не меняет и даже упрощает то, что теперь у него осталось лишь зеркальное болото, эта магическая лужа.

Одно то, что он может тут стоять, нащупать тень, нащупать ее пульс, понимая, где низ, понимая выродившиеся имена, понимая, куда смотреть, чтобы увидеть полет птиц, делало его волшебником. Он в этой сказке – писатель-сказочник. Мы все остались колдунами. И в танцах с бубнами мы теперь в нашем веке бормочем в трансе четыре имени новых магических элементов.

Потанцуем и вокруг болота. И без всякого притворства. Приближаться к нему нужно, разодевшись чучелами, медленно исполняя ритуальный танец с уважением и опаской, хотя бы потому, что здесь, на этих грунтах, сроду не было никаких болот. Тут затаилось разбуженное чудище, древнейший генофон, сама жизнь со своей абсолютной потребностью жить – жить, несмотря на весь свой генетический цинизм.

Оно не напоминает о себе и не мозолит никому глаза, незаметно лежит на заросшем пустыре, никак его не изменив – та же растительность, та же заброшенная дикая местность. В высокой сухой траве не видно прижатых к земле трех его драконьих сонных морд и раздвоенного короткого жирного безобразно лоснящегося плоского блестяще-чешуйчатого хвоста, уже взамен тех пушкинских ножек.

И все же и опять же кое у кого, не считая Баландина даже, глубоко сидит нарастающее неосознанное беспокойство бесконтрольного продолжения существования неведомой стороны, постороннего давящего присутствия у скелета. Растущей загадки растворенного в этом болоте живого древнейшего чудовища, подсмотренного у природы и теперь упущенного из клетки праалгоритма, первого алгоритма, стихийно возникшего без какой-либо точки опоры, без точки мысли, без системы ценностей, без какого-либо понятия об алгоритмах, без сознания. Неведомый источник живой вычислительной мощности, несопоставимо превосходящий все иные, надуманные, вычислительные возможности. Шифр жизни, высшая неизменная ценность, оберегаемая природой. Все остальное видимое и ныне существующее, то, на что приходится лишь малая развернутая доля этого шифра, живет в мире страданий, полностью и до отказа заполнило этот мир и не имеет ценности.

Нелегко добровольно принять условия такого общения, признать, что, как исследователь, уже не владеешь ситуацией и относишься к подчиненной и неосведомленной стороне, а объект исследования требует как минимум равноправия в общении и хочет, чтобы его слушали. Не каждый ученый готов говорить в микроскоп. А Баландин готов.

Он, конечно же, всегда готов на что угодно. На самое худшее. На самое лучшее – смотря, что смешнее. Это не всегда шло на пользу. Не понятно, пошло ли это не на пользу и теперь. И как же теперь показать этот эксперимент друзьям, коллегам. Как они соберутся здесь, утопая ногами в грязи, чтобы увидеть его существенный вклад в науку. И будут смотреть на эту лужу, пытаясь сопоставить то, что Баландин будет говорить, и то, что они увидят тут на пустыре у свалки. Как примерить это болото к их белым халатам и к их внимательно нахмуренным слушающим взглядам.

И в голове Баландина эта воображаемая встреча кончалась конфузом. Кто-то при общем смехе, неуклюже поскользнувшись и махая руками, съезжал обеими ногами в воду; стоящие рядом, пытаясь его неловко подхватить, также нелепо скользили и падали на четвереньки в скользкую грязь. И вот уже задействована была значительная группа рук и ног, и никто уже и не думал смеяться или посмеяться. С трудом выбравшись на сухую пыль, кто-то даже через ампутацию засосанного резинового сапога, и извинившись перед Баландиным, они, чумадые до нельзя, уходили. Остальные в смущении пытались дослушать, или услышать оправдания этого всеобщего затянувшегося присутствия посреди степи, на фоне этих нелепых декораций. Услышать хотя бы оправдания потери их дорогого времени, да и прочих материальных затрат на умножение ненужного научного вещества.

Да, нелегкой статьей расходов лежало на скелете содержание Баландина, всех его генетических НИОКР. И легче было перечислить достижения Баландина за всю его жизнь, чем сказать, сколько полезных проектов на данный момент вёл скелет. Заходя в иную лабораторию, чтобы перекинуться с друзьями парой слов, Баландин едва ли был способен вести текущий тут трудоемкий скучный проект и, конечно, не был пригоден к нудной работе рядового лаборанта.

Он не только был менее всех продуктивен, хотя мог бы быть более всех. Он раньше всех оставался без средств финансирования, и для него приходилось перебрасывать деньги, отщипанные с остатков бюджетов других отделов.

Зато любо-дорого было посмотреть, как он теперь, ловко и без шума приманив внимание болота, взяв его враспloch, взяв враспloch его оплошность, очень деликатно сдувая с него зеленый налет, так, что едва качнул на воде насекомое на длинных лапках, недрогнувшей рукой капнул из своей пипетки в очищенное круглое водное окно свое ободряющее приветственное веселое слово. Отпечаток живого веселого тепла, выросшего из дикого космоса. Древний веселый слог товарищества клеток.

Веселье можно продлить, если этим словом дать веселью больше свободы. Материализованная мечта прекращает быть мечтой. Забавные вещи прекращают быть забавными. Иное дело с такой забавной вещицей как жизнь. Но даже жизнь может перестать быть забавной – и этому нельзя дать повод.

Вместо надежды найти в огромной холодной пустоте хотя бы объедки жизни, все телескопы можно направить на болото, в котором отражается неба стекло и родина жизни. Вместо бесшумных звезд наблюдать во все линзы – клеток бесшумное деление и все космические предпосылки изделий жизни.

Конечно, никто бы не смог это сделать. И не поделаться прямо ничего. Могут ли быть какие-то сомнения, что только Баландин бы смог. Без этой его веселой капли никто бы и не посмотрел больше в эту сторону; и болото, имея много капель, но не имея красок, без этой одной веселой капли скрылось бы под тиной, заселив у себя немного головастиков, и скоренько испарилось бы нынешним летом со всей своей неопознанной интеллектуальной собственностью, скрывая свою ко всему беспристрастную неприязнь.

Испарилось бы незаметно и без сожаления, без лукавства, без уловок остаться, и не оставив даже черновиков. Потому что вода это абсолютно правдивая вещь этого мира; и очень продвигая мысль этого мира. Вода занимает абсолютно законное место в мире. Сгоревший водород сохраняет свою структуру миллиарды лет. И не важно, где вода находится, снизу или сверху,

падает дождем или поднимается в облака, она одна и та же. Испокон веков те же самые два водорода и один тот же кислород постоянно вместе. Это троица правды нашего мира. Никогда эта троица не расставалась и не разменивалась с другими, такими же.

Однако абсолютная правда покрывает абсолютную ложь. Эта ложь это плавающая в ней жизнь. Жизнь – абсолютно лживая вещь. Жизнь противоречит фундаментальному закону мира, занимает свое место незаконно во всемирной честности.

Не понятны не только причины появления жизни, но даже имея эту жизнь перед собой, не понятно ее движение. Почему эволюционный «прогресс» создавал организмы, которые при катастрофе менее способны к выживанию, чем простейшие одноклеточные. Почему эволюция не остановилась на универсальной, почти не убиваемой катастрофами клетке. В чем заключается движущая сила усложнения организмов, если это не ведет к росту их прочности, к росту способности выживания, а наоборот. Конечно, появление разума вывело способность выживания на новый уровень – активное изменение среды, возможно, приведет к высшей прочности, превосходящей живучесть клетки. Но сейчас промежуточные этапы результативно проигрывают начальному. Собственно, так же проигрывают и этапы появления самой жизни из неживой материи, имеющей более устойчивое энергетическое состояние.

Все эти громоздкие многоуровневые нагромождения с применением нуклеотидных оснований почти не имеют энергетического права на законное продолжение существования. Они не имели никакого права даже на произвольное, законное первое появление. Поэтому жизнь постоянно меняет свою структуру, свою личину, скрывается, юлит, постоянно оправдывается за свое нелегальное присутствие в мире. И она нашла своего защитника в абсолютной правде – в воде. Вода стала средой жизни, приютила ее, сохранила, приголубила. Исчезнет вода – исчезнет жизнь. Будет жизнь, вода будет ее защищать.

Поэтому болото с радостью осталось.

Едва капля жизни, капелька генетического сюррика, упала в болото вмятиною на воде, как Баландин ощутил свежую струю свободы окружающей степи, как будто будущий день оказался случайно замешан в нынешние дни. Он ощутил углубление текущих событий, объединяющую свободу, саму уверенность поглощающую: Да – это правильный ответ, Нет – это правильный ответ. Она шире плеснула ему в спину желто-красным сиропом уходящего дня, когда он завернул обратно к скелету, на который попали крупные яркие брызги заката. Звенел ласточкин патентованный полет. Закатом закрасивела ласточкина безоконная стена, проявившая у самой земли даже обрывки объявления прошлогоднего концерта самодеятельности.

Вечер терся о плечо. Верхи деревьев тянулись кончиками пальцев поймать последнюю копейку солнца. Замер исписанный цветами зеленый берег. Невидимо колыхнулась в глубине взболтанной гущи генов никогда не сбывшаяся случайность. Основной, мертвый, текст жизни заполнял неоконченные неживые формулировки.

Баландин надеялся, что его односложные фразы сойдут хотя бы за полуживые. Нет, он, конечно, не надеялся на вселение духа в болото. Всё уже есть там, где было всегда. Это всего лишь жизнь в чистом, очищенном от человека, виде.

Присоединенный к паровой машине электровыключатель ее не запустит даже после вселения того духа, что движет электродвигателем. Паровая машина таких шуток не понимает. Важен язык. Или, как в случае Баландина, не умеющего говорить, – хотя бы знание алфавита. За связность своего рассказа он не беспокоился. Наоборот, нужна активация мусора, активация бессвязности повествования. Жизнь движется бессвязными пробами, без какой-либо работы над ошибками. Жизнь движется повторениями ошибок и повторениями успешных проб. Бессмысленное движение, бессмысленное путешествие, которое ведет к цели, изначально не понятной. Понятной только после достижения этой цели. Или не понятной даже после достижения или после провала, или в отсутствие даже цели. И на этом всеобщем низком

уровне, на мусорном уровне, живое без сожаления становится неживым. И неживое без сожаления становится живым. Природа продолжает превращать мертвые вещи в живые.

Живое, неживое. Все едино. Вот вдруг возникло различие в конструкции – и вдруг другой принцип работы. И не важен размер этого различия. Живое живет в неживом. Как живут в неживом и прочие возможности неживого, которые не намерены становиться живым, но которые сами даже и не существуют. Неживое остается неживым только в силу других конструктивных особенностей. Жизнь есть лишь одна из конструкций неживого в наборе обычных равноправных, не спровоцированных внешним творением, конструкций. Жизнь есть лишь свойство одной из конструкций, имеющих свои, другие, свойства. И это свойство кажется особенным только для человека, а не для жизни. И это особенное свойство есть свойство одной из конструкций неживого, которое никак не беспокоится об особенностях каких-либо свойств всех своих конструкций.

Именно своих, а не чьих-то. Никакой дух не дарил неживому свойство жизни. Чтобы жить, Неживое не нуждается ни в подарках, ни в помощи, ни в оправдании жизни. Ни в желаниии, ни в разочаровании. Ни в сожалении после утраты жизни. Потому что утраты не было.

Ночи темнели и светлели, отраженная на водной глади луна убывала и росла. Ночь и тишь, и ночь вдохнуть, и километры теплой тишины, тень от луны и лунное тепло. Живое или неживое, это болото, этот водоем не был, конечно, обычным. Он был прозрачен, как застывший в ночном воздухе горный ручей, и почти не видим здесь на этой ровной степи; его поверхность была недвижима, ветер редко касался его, редко на нем появлялась рябь и, конечно, никаких волн, хотя иногда Он менял свой размер и вдруг бывал обширным под луной. Солнце редко ломалось на его поверхности, странно это или нет; может быть, всё в нем не было странным.

Он был неглубоким, даже мелким, и это делало его всего лишь большой лужей. И как будто эта его неглубина как раз и не позволяла ему выглядеть как сказочное озеро с таинственной темной глубиной, перевернутым бесконечным миром. В нем не было даже обычного для водоемов дна. На дне его, полностью видимом с его берега, росло то, что росло тут до него и рядом с ним, на земле вокруг, которая теперь оказалась чуть выше и стала его сухим берегом, ни капли от него не получившим. Та же трава под ним, те же редкие длинные сухие стебли торчали над ним, вокруг него, до него. Вода была прозрачна для дневного и лунного света, и, казалось, была невесома: так ярко и близко было видно его дно – как под увеличительным стеклом.

Глядя на эту обычную воду, все вокруг казалось необычным. Но если бы кто-нибудь, проходя ночью по незаметному краю этого маленького озера, вздумал опуститься и напиться, с руки, или лакая, как собака, можно быть почти уверенным, что с ним, с этим кем-нибудь, не случилось бы ничего необычного. Или может быть случилось. Разницы никакой. Ну то есть в том смысле, что замечать эту разницу только частное желание этого прохожего.

Но, это озеро не реагировало на всякое желание; вот если бы кто поговорил с ним. Ведь это озеро собеседник мировой. Миллиардолетний дух. Сердце жизни. То, что есть в каждой клетке нашего мира, то есть глубоко внутри всех. Не замечаемая древнейшая мать. Которой миллиард лет отроду. С миллиардолетней любовью. Вот оно кто на самом деле. Попробуйте, любите миллиард лет. Миллиард дней и миллиард ночей.

Это озеро лежало в одинокой степи под луной и никого не заставляло любить. Ничего и никого не хотело, просто было. Не теперь было тут, а было давно. Настолько давно, что тогда само слово Быть еще намеком не существовало.

Трудно вообразить это расстояние времени. Но все же, умножить обычное воображение можно. Способом таким, арифметика такая: взять, хотя бы, самых обычных газетных старожил; ведь даже они забывчивы, для них необычен даже ранний снег. Хотя достаточно проверить подшивку любимой газеты за каких-нибудь пятьдесят лет, чтобы это не было необычным. Всего лишь половину сотни ранних снегопадов из миллиардов мегатонн исторического снега.

Миллиард лет делится на полсотни, и умножается на ваше драгоценное воображение. То есть, опять делится. Делите миллиард на смехотворную долю наименьшего простого числа и смотрите. Смотрите на простор, где горизонт много дальше неба. И идите. Спокойным шагом по этой гладкой пустыне. Таким должно быть это воображение, где самая высокая точка это голова человека в обычной одежде, пижаме, или обычном костюме с галстуком, спокойно идущего по ровной застывшей сухой бесконечной светлой пустыне. Обычный, равный людям человек, потерявший уважение к дню и ночи. Он глядит прямо такой большой минутой в бесконечный ровный рыже-голубой горизонт и туда идет. Один. Хотя нет, все напрасно, эти сонные усилия воображения всегда заканчиваются умножением на ноль. Неудачный пример. Очень.

Воображению не нужно усилий на ярмарке снов. Зачем воображать, достаточно смотреть – вот он край болота. Тут успокаивается ночное время. Замирает мерцанье звездных захолуствий, и луна на покорной орбите, а на ней гуляет нелюдимый человек. На этом краю ценность имеет только летнего неба звездная тишина. А под небом вдалеке мерцают редкие окна россыпью бессонниц, и еле слышны изрытые ветром далекие ночные рыдания собак. Их глушат близкие подробности теплых шорохов ночных. Дома притихли, и люди в них, зажмурясь, смотрят сны. Прозрачное зеркало болота всё то же думает во сне. Хранит движенья, тянутые сном. И бросает просмотренные сны скомканной салфеткой.

Уходил иссякший сон. Потягивались заспанные тени. Дом всеми этажами окон исподлобья ждет рассвет. Наступал час, когда цветы еще не пьют, и еще не все звезды собраны в своей заспанной глуши. Не последняя капля, а первая капля блеска переполнила сами капли, они толстые искали только повода, и с веток порушился копенный ночной короткий дождь. Где-то там далеко в атмосфере свет потихоньку включали оплывшими свечами. Некоторые лампочки не горели на горизонте, их не позже месяца заменят заспанные и ворчливые небесные электрики. Но кому-то нравится и так. Красота света требует тень, перегоревшего света, тусклой предрассветной тени этого часа и предыдущих двух. Свет был еще ленив, а запах был уже полон животворящей радости. Потому что ранний вздох булочной на нашей улице всегда раньше света. В окне рассветная бледность улиц, у оконного стекла стоит душа, отлежавшая себе руку. Нового дня уже растекался лимонад. И всё получало свои сосредоточенные очертания, и всё лучей волною мылось, и свет отражался музыкой. Вскипятились все до единого чайники, и еще раз там вскипятились, где привычка чая в блюдцах. И уже мимо, внизу под окном, шли мужчины и женщины. У кого-то нос поперек клеток платка. Слабый запах цветов, тоже продрогший со сна, ко всем встречным жался, дрожа.

На холодных блестящих рельсах продрожал первый утренний трамвай весь в трамвайной росе. Проезжая свою конечную у скелета, пустой и сонный он иногда глядел туда, на длинные плотные поезда, которые никогда не смотрели на него. Иногда лишь пугал грохот свихнувшегося товарняка. Их пути никогда не пересекались. Пути пересекались только в скелете, их было там много. Серьезное железнодорожное хозяйство, много крупнотоннажных грузов, оживленное движение и строжайшая безопасность нахмуренного движения. В отличие от трамвайного, смешливо-несерьезного, дребезжаще-стеклянного.

Железная дорога источник громких и резких звуков, но на огромной территории скелета железнодорожный шум был рассеянно мягким и даже приятным, в том смысле, что он давал людям, работающим в кабинетах, лабораториях, цехах, и просто замершему в задумчивости человеку, склонившемуся над своим простым рабочим столом на тонком хрупком стуле, то самое чувство обширных пространств принадлежащего ему и всем предприятия, большого родного дома, необъятного скелета. Железная дорога скелета озвучивала в каждом человеке широкое вольное древнее чувство свободных пахарей, обладающих полями, уходящими за горизонт, дышащими самим небом.

Было так всегда. Текли текущие дела. Поэтому все новое выделялось каждой присутствующей тут подкоркой. Поначалу, однако, никто не выделял на слух этот далекий гудок в других

привычных звуках подъездных путей скелета, доносящихся неслышимо до научных и административных корпусов. А нынче все прислушивались и отвлекались. Теперь все знали, что это голос утонувшего в болоте тепловоза, протяжный и жалобный голос большого утопленника. Некоторые даже боялись этого звука, для них он приходил откуда-то с неба и сливался с его синевой и бесконечной прозрачностью. Этот звук, уже даже утихнув, отвлекал от всего, и требовалось усилие, чтобы вернуться к самотеку науки, к бумагам на столе, вставляя промежутки чаепития между промежутками труда.

Этот протяжно утихающий гудок выматывал душу и старика механика Мирона, бывшего партизана, порвавшего много рельсов. В этом гудке слились все стоны убиенных им больших машин.

При жизни этот знакомый ему локомотив уже был немертвой машиной. После смерти он обрел душу. Конечно, для Мирона у каждой машины была своя индивидуальность, ведь он работал тут механиком, первоклассным и замкнутым на совершенстве машин. Но не было в его работе никакого намека на личное, на отношения и беседу с очень большими предметами, что иногда каждый механик себе позволяет, но не он. Он не говорил и с локомотивом за №-ом... – 0064, когда тот был жив. А вот нынче Мирон вздрагивал ежедневно, хотя звук был тихим и потерянным, без обычной внезапной железнодорожной мощи, которая вблизи пугает кости каждого человека. В этом вздрагивании не было утраты, не было вдруг возникшего сожаления о возможной дружбе, а было что-то бесконечно неведомое и крайне пустое и чистое. Как будто вынули из тела, прокрутили между тесными тяжелыми гладкими барабанами, выжав теплую воду, и вставили обратно прямое, обветренное, холодное и свежее.

Когда этот тепловоз только увяз в болоте, сразу было запрещено приближаться к этой зоне. Все на базе были только рады сразу и с облегчением забыть об этой аварии. Но Мирон почему-то приходил иногда поглядеть на глаза этого беспомощного тепловоза. Это были глаза увязнувшей в трясине лошади, которая уже перестала устало и безнадежно и долго биться в схватившей ее топи и теперь только смотрела. Было что-то странное в этой огромной железнодорожной мощи, проигравшей и сдавшейся бессмысленной грязи.

День за днем тепловоз погружался в эту неглубокую болотную слякоть. Очень медленно, но так безнадежно неотвратимо. С такой безнадежной усталостью в уже не боящихся глазах. И скрылся, как будто никогда его тут не было. Болото не изменилось, лежала гладкая искрящаяся на солнце лужица. Искрящийся блеск в воде и живой гудок в далеком голубом воздухе. В это превратился образ исчезнувшей колоссальной машины. И остался здесь. Ежедневно далеким сопящим свистком вызывая живой испуг от живого надрывно-тревожного беспомощного голоса.

Последний свисток тяжелого призрака тепловоза обозначил Марату конец обеденного перерыва. Очень удобно для того, кто не хочет прерывать свою мысль заботой о ежедневном рабочем распорядке, но его пунктуально соблюдает.

Сознательность в поступках не должна быть ежеминутно вычитана из Устава; поступить, как считаешь должным, и, уже после, найти подтверждение в Уставе – вот достойная последовательность поведения, а не наоборот.

Поэтому Марат постановил себе уже давно не носить в карманах Программу и Устав. В свое время он превратил свои экземпляры в замусоленную совершеннейше ветхую пачку листов. Он даже было устыдился недостойного состояния доверенного ему самим же собой переплета высокой коллективной мысли. С тех пор он обращался с этими книжками бережно, хранил только в столе и обращался, опять же, к ним только в минуты тягостных сомнений.

Не то чтобы он не знал тексты наизусть – просто, видимое печатное слово, одинаковые строчки, одинаково размноженные издательством и розданные одинаковым переплетом во многие миллионы теплых рук, – все это давало восхитительную твердость чувства многомиллионного мысленного единения – именно членство, и мысленное же боковое зрение на многие

тысячи километров нашей светлой суши. И не только нашей, ведь это во истину Программа и Устав всего этого мира. Даже на маленькой круглой синей печати одной единственной нашей организации изображена вся планета. Соединяйтесь.

Обладая всем, не нужно что-то иметь. Находясь в одной ячейке, чувствуешь все другие, такие же. Видишь идеальную симметрию и ее естественное воспроизводство, растворяющее отжившие преграды частных мотивов, рожденных недоступностью благ.

Когда производство есть автомат, тогда общество есть стремление к знаниям. Мерилом общественной оценки человека перестанет быть уровень благосостояния, раз уж любой уровень будет доступен в автоматической справедливости. Доступность лишает материальную ценность ценности. Не нужно низводить всех до уровня нищеты, чтобы сделать равными. Не нужно всех делать и равно богатыми. Достаточно положительно опошлить богатство, опошлить само желание обогащения полной доступностью богатства. И на фоне пошлости, потускневшего, исчезающего стремления к оперированию материальными ценностями ценность приобретет стремление к знаниям, единственной ценности. Информация, знания, продукт таланта и сам талант, идея в чистом виде станут мерилем богатства. Это богатство не может иссякнуть, его нельзя потратить – расточительно обменяться идеями значит не расточить, а, наоборот, обогатиться вдвойне, обогатить весь мир.

А всеобщий тяжкий нынешний труд лишь этап на пути к исчезновению пролетариата как класса. – Когда в производстве будет господствовать бесчеловечный труд автоматов, равнодушно напрягающиеся машины. Бесчеловечный труд освободит человека для человека, сотворит прогресс, поместит все высокие желания в фактические ощущения; и засверкают радостные слезы. И цель – не избавление от труда, но отдохнувший свежий труд, природная база и природная надстройка. В этом – историческое движение, осознанно направленное Программой и Уставом, – естественное, жизненно-мягкое, исчезновение и диктатуры, и пролетариата.

Даже теперь самые сухие выдержки официальных документов и воззваний полны жизни. Полны строк о стремлении раскрытия «лучших нравственных качеств свободного человека», воспитание «нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство», отношений, основанных «на чувствах взаимной любви и дружбы». Несмотря на гимн труда и даже на радость созерцания собственного труда, «исчезнет тяжелый физический труд», мы станем страной «самого короткого рабочего дня». Ну просто любовь плюс электрификация всей страны.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.